

УДК 821.161.1.09

**ТЯЖКАЯ МИССИЯ ПРОРОКОВ.
«ПРОРОК»: СТИХОТВОРЕНИЯ А. С. ПУШКИНА
И М. Ю. ЛЕРМОНТОВА**

Ю. М. Никишов

Тверской государственной университет
кафедра истории русской литературы

Выделенные стихотворения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова объединяет не только название. Это стихи о поэте и поэзии. Но если поэт (пророк) вещает неприятные истины, его судьба драматична. То, что Пушкин, может быть, интуитивно, угадывает, Лермонтов и на пушкинском, и на своем опыте в картинах показывает.

Ключевые слова: пророчество, миссия, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов

Лермонтовский «Пророк» воспринимается непосредственным продолжением размышлений в пушкинском одноименном стихотворении: А. С. Пушкин дает картину преобразования жаждущего познания человека в пророка, венчаемую напутствием Всевышнего. М. Ю. Лермонтов как будто показывает, что из этого получилось: «*С тех пор как вечный судия // Мне дал всеведение пророка...*» (здесь и далее выделено мной – Ю. Н.) [1, т. 1, 224]. Такое «дописывание» предстает вполне логичным: лермонтовский текст опирается не только на весь пушкинский, но, как оказалось, и на весь собственный опыт (лермонтовский «Пророк» – одно из последних творений поэта). Однако не все оказывается верным из того, что первое впечатление ставит на такое место.

Пушкинский «Пророк» (1826) предстает произведением программным. Иное прочтение вроде бы начисто исключено, ибо стихотворение завершается «воззванием» не кого-нибудь, а самого Бога к новоявленному пророку. Напутствие такого рода надо принимать безропотно и исполнять неукоснительно. Но тогда закономерен вопрос, который почему-то никогда не задавался: где, в каких произведениях Пушкин выполняет освященное именем Бога намерение глаголом *жечь* сердца людей? Вопрос закономерен, но если он, наконец, возник, то ответ потрясает своей неожиданностью: нет таких произведений! Даже больше: наблюдается осознанный откат в противоположную сторону, то есть воззвание Бога фактически дезавуируется.

В стихотворении «Поэт и толпа» (1827) ситуация доводится до парадокса: заповеданной Богом цели поэт достигает как-то произвольно; это как раз толпа констатирует: «О чем бренчит? чему нас учит? // Зачем сердца волнует, мучит, // Как своенравный чародей?» [2, т. III, 85]. Поэт демонстрирует непреклонность: «Подите прочь – какое дело // Поэту мирному до вас!» [2, т. III, 86]. И не будем упираться на то, что диалог в этом стихотворении ведется с «чернью тупой», доброго отношения не заслуживающей по определению. В сонете «Поэту» (1830) адресат иной, уважаемый, но позиция поэта неизменна: «Поэт! не дорожи любовью народной» [2, т. III, 165].

А как же в «Памятнике» (1836), где поэт удовлетворенно констатирует, что к памятнику, воздвигнутому ему его музой, «не зарастет народная тропа» [2, т. III, 340]?

Тут нет противоречия: говоря о желанной для него народной любви, поэт относит эту акцию в неопределенное будущее: его назовет «гордый внук славян» (когда обретет гордость или укрепится в ней), дикий тунгус (когда избавится от своей нынешней дикости). О какой народной любви можно говорить в обстоятельствах, когда народ отрешен от элементарной грамотности? На такой стадии общественного развития поэт (он в просвещении с веком наравне) не пригибается к народу, оставляя за народом перспективу подняться до своего поэта. Жизнь поэта и соответственно его творчество прервались все на той же «отторгающей» ноте: «Зависеть от царя, зависеть от народа – // Не все ли нам равно? Бог с ними. // Никому // Отчета не давать, себе лишь самому // Служить и угождать...» («Из Пиндемонти», 1836) [2, т. III, 336].

Определение поэтом своей позиции – это задача, которую он решает на протяжении всей жизни; она не для одноразового решения, потому что меняются обстоятельства, сам поэт мужает. Борьба позиций может возникать даже в рамках одного стихотворения. Здесь нельзя обойти вниманием известное пушкинское стихотворение «Деревня» (1819). Контрастное изображение двух картин деревни, идиллическое и изуродованное крепостническими порядками, бросается в глаза. Менее заметно, что этим двум картинам соответствуют и два поэтические портрета.

Первый портрет безоговорочно симпатичен, трудно догадаться, что над ним зависнет знак вопроса: «Я здесь, от суетных оков освобожденный, // Учуся в Истине блаженство находить, // Свободною душой Закон боготворить...» [2, т. I, с. 318]. На лоне природы слышнее «отрадный глас» «оракулов веков»: «Он гонит лени сон угрюмый, // К трудам рождает жар во мне, // И ваши творческие думы // В душевной зреют глубине» [2, т. I, с. 319]. Однако размышлениям такого рода свойственна созерцательность; именно она становится кощунственной в свете новых представших перед взором поэта обстоятельств. Тогда рождается страстное желание: «О, если б голос мой умел сердца тревожить! // Почто в груди моей горит бесплодный жар // И не дан мне в удел Витийства грозный дар?» [2, т. I, с. 319]

Голос, умеющий сердца тревожить: это нам ничего не напоминает? А далеко ли тут до девиза глаголом жечь сердца людей? И главное условие соблюдается: в груди горит жар. Факел готов, остается запустить его в действие. Жар пока назван бесплодным, но если поэт обретет необходимые слова, то и будет плод! Не получается ли так, что «Деревня» обещает «Пророка»? Дело за умножением и жизненного, и творческого опыта. Но время придет, и будут написаны гордые строки: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (Н. Н. Раевскому, черновое, июль 1825 года; подлинник по-французски [2, т. X, с. 610]). Так что поэт от «Деревни» к «Пророку» заменил лирический монолог на библейскую форму, видимо, в целях подкрепления авторитетности вывода, а содержательно осознал себя готовым выполнить свое давнее намерение.

На возникшие вопросы утвердительный ответ напрашивался бы, если бы мы располагали образцами, где поэт эффективно стал витийствовать, но за спиной «Пророка» таких образцов нет. Парадоксально, что приступ к витийству можно обнаружить как раз там, где об этом возникает мечта: страшная картина деревни написана воистину огненным языком. Это заставляет заключить, что ставка делается отнюдь не на художественное решение проблемы. Молодой поэт не избежал соблазна, на котором позднее сгорел Н. В. Гоголь: «Ревизора» писатель

задумал как зеркало, в котором публика должна была увидеть свои кривые рожи. Городничий вроде бы партнеров, а фактически, зрительный зал вопрошал: «Чему смеетесь? – Над собою смеетесь!..» В первой главе второго тома «Мертвых душ» писатель мечтал о русском человеке, способном произнести вечевое слово *вперед*. Когда не дождался, решился произнести такое слово сам. Художественный успех «Ревизора» Гоголь воспринял как свой провал, потому что жизнь ни на шаг не подвинулась *вперед*. «Витийства грозный дар», видимо, и у Пушкина предполагал непосредственное вмешательство художника в жизнь.

По счастью, благоговение поэта перед искусством сыграло свою благотворную роль. Он сделал для себя твердый выбор; об этом решительно заявлено в известном письме к Жуковскому (апрель 1825 года): «Ты спрашиваешь, какая цель у “Цыганов?” вот на! Цель поэзии – поэзия – как говорит Дельвиг (если не украд этого). Думы Рылеева и целят, а всё невпопад» [2, т. X, с. 112]. Здесь не уточняется, какой должна быть поэзия, предполагается, что это явление очень широкое. Но для Пушкина неприемлемо заявление К. Ф. Рылеева: «Я не поэт, а гражданин». Поэту не зазорно питать гражданские чувства, но если ты взялся писать стихи, ты должен быть поэтом.

Но тут возникает новое ответвление размышлений: поэты бывают хорошие – и разные. Интересный, содержательный диалог с поэтами-друзьями (А. А. Дельвигом и В. К. Кюхельбекером) состоялся в первом пушкинском послании к лицеистам «19 октября» (1825), особенно активный – с Дельвигом. Отмечено единство судеб: «С младенчества две музы к нам летали, // И сладок был их лаской наш удел» [2, т. II, с. 246].

Что любопытно – музы разные, и не они подсказывают избранным свои песни; они подстраиваются под характер и особенно под образ жизни своих питомцев; творчество опекаемых не унифицируется, остается индивидуальным.

Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты... [2, т. II, с. 246].

Наметив резко различающиеся портреты, Пушкин переходит к обобщению, и тут наблюдается нечто неожиданное. Пушкинские мысли извлечены не из собственного опыта, а из опыта друга; напротив, свой – суетный – опыт решительно отвергается. Столь категоричные отречения не так уж часто встречаются в пушкинской поэзии: «Опомнимся – но поздно! и уныло // Глядим назад, следов не видя там» [2, т. II, с. 246].

Можно пропустить мимо ушей такие слова, а если вслушаться, они душу цапапнут и позовут на спор. Как это – следов не видя: а «Руслан и Людмила»? а «Пленник», «Фонтан», первая книга стихотворений? еще не напечатанные «Цыганы»? а главы «Онегина»? а «Годунов», еще не ведомый публике, но последние сцены которого уже дописываются?

Но с Пушкиным спорить нужно аккуратно, если даже в его парадоксальных заявлениях обнаруживается логика. Остается фактом, что, сопоставляя принципы своей и Дельвига творческой жизни, поэт отдает полное

предпочтение принципам друга, осуждая свои. Нешуточное дело! Не о частностях речь – об образе жизни, о свойствах натуры. Всего лишь год назад сделана запись: «Я любил и донныне люблю шум и толпу...» [2, т. VIII, с. 17]. Возможно ли круто изменить образ жизни? Видимо, универсальных рецептов нет, а необъятный человеческий опыт может представить разнообразные варианты (и пушкинский опыт суеты включает, но отнюдь не сводится к суете); несомненно, что в любом случае кардинальная перестройка натуры – исключительно сложная, с малыми шансами на успех, психологическая процедура. Тем не менее преуменьшать значение пушкинского заявления не следует. Обратим внимание: *личное* утверждение возникает в диалоге с другом; в «зоне героя» (М. М. Бахтин) может строиться размышление не только в эпическом произведении, но и в лирическом; двойной ореол высказывания (поэта и его воображаемого собеседника) отчетливо заметен. Главной, конечно, является подвижка позиции Пушкина в сторону позиции друга. И опять резкий парадокс: выражая желание, по примеру Дельвига, отстать от суеты, Пушкин не вступает на путь друга, а идет к цели своим путем, возвращаясь к позиции, намеченной в «Деревне».

Цели, которые ставят перед собой люди, часто бывают конкретными; естественно, предполагается ориентация на их достижение. Но, случается, привлекают цели заведомо недостижимые – и тут важен принцип: сама установка, тенденция, выбор, ориентировка, направление; результат не в достижении цели, а в движении по направлению к цели.

В «19 октября» можно наблюдать противоречие (по размышлению, это не противоречие пушкинской мысли, но противоречие самого бытия, которое осмысливается). Как соединить воедино в разговоре с Кюхельбекером начальную посылку («душевных наших мук // Не стоит мир...») и итог («Поговорим о бурных днях Кавказа, // О Шиллере, о славе, о любви» [2, т. II, с. 246])?

Первое, похоже, совсем исключает второе. Тем не менее перед нами нормальное диалектическое противоречие. Жизнь поэта должна быть особой – но она не может перестать быть просто жизнью человеческой. Служить музам надо без суеты, надо стремиться к величавости прекрасного – но поэзия не может обрезать пуповину, связывающую ее с земными заботами. Мир не стоит душевных мук – но без этих мук человек не человек.

Исключительно важный разговор с лицейскими друзьями (а с друзьями-поэтами особенно) состоялся в «19 октября». Тема обозначилась, ее трудно исчерпать в одном разговоре, и быть ей продолженной. Она и продолжена, на первый случай – в «Пророке». В нем можно видеть возведение на предельную высоту тех настроений, которые обозначились в «19 октября»: отказ от суеты в служении музам, стремление к величавости прекрасного. Но такой порыв связан с полным преображением человека, что и показано в «Пророке». Томимый «духовной жаждой» поэт получает новое зрение, и слух, и язык, и пылающее сердце. Процесс преображения мучителен даже физически, но жребий брошен.

«Пророк» порождает целую серию вопросов, из которых самый простой – возможно ли совмещение стремления к гражданской активности – и к величавости прекрасного? Но сомнение в возможности такого совмещения может возникнуть лишь на абстрактном уровне размышления. Пушкин – волшебник, для него подобной проблемы не существует. Артистическое, художественное начало у него в крови, он превращает в поэзию все, к чему ни прикоснется. Пушкин, как никто, умел уравнивать, гармонизировать самые разные устремления искусства. То,

что для иных художников оставалось неразрешимой проблемой, для Пушкина и проблемы не составляло, решалось само собой, без усилий.

Вот вопросы потруднее: возможно ли человеку переломить свою натуру, кардинально изменить образ жизни? Если происходит акт преображения человека в пророка, сохраняется ли в нем (полностью? частично?) человеческое начало? Возможен ли возврат к человеческому состоянию? Возможно ли сочетание человеческих и пророческих качеств?

На подобные вопросы нельзя ответить (разве что гадательно) на основе отдельно взятого стихотворения. Но существует динамика творческого развития поэта, поэтические декларации подтверждаются практикой, происходит возвращение к сквозным темам, и тогда картина проясняется. Продолжение размышлений по проблемам, поставленным в «19 октября» и «Пророке», последовало в стихотворении «Поэт» (1827). Это стихотворение создал художник, хорошо помнящий своего «Пророка»: некоторые детали вступают между собой в прямую переключку. Вновь показано преображение человека, когда в нем прорезается поэт: «Но лишь божественный глагол // До слуха чуткого коснется, // Душа поэта встрепенется, // Как пробудившийся орел» [2, т. III, с. 23]. Сравним: «Отверзлись вещи зеницы, // Как у испуганной орлицы»; «Моих ушей коснулся он...» [2, т. II, с. 304]. Но в «Пророке» преображение происходит под воздействием извне: творит «шестикрылый серафим», а довершает акт творения «бога глас». В «Поэте» преображение не связано с внешним источником и показано как самозарождающийся процесс. Различие формы двух стихотворений носит внешний характер; несомненно, важнее поступательное движение сознания художника; здесь различия принимают принципиальный характер: глас Бога повелевал «жечь сердца людей», а поэт производит действие, направленное в противоположную сторону, не к людям, а от людей: «Тоскует он в забавах мира, // Людской чуждается молвы, // К ногам народного кумира // Не клонит гордой головы; // Бежит он, дикий и суровый, // И звуков и смятенья полн, // На берега пустынных волн, // В широкошумные дубровы...» [2, т. III, с. 23]

Можно было бы утверждать, что программа «Поэта» отменяет программу «Пророка» (а она освящена Богом!) и возвращается к программе «19 октября» («Ты гений свой воспитывал в тиши»; «Сокроем жизнь под сень уединенья» [2, т. II, с. 246]), но рисунок творческих исканий Пушкина объемлен и стереоскопичен: отдельные высказывания не опровергают друг друга, а взаимодействуют между собой. Кроме того, учтем, что воспроизведенная в «Поэте» картина не расшифровывает содержания уединенных размышлений художника. Пушкин в письме Дельвигу (февраль 1826 года) излагает мысль Альфиери: «Класс писателей... более склонен к умозрению, нежели к деятельности...» [2, т. X, с. 155]. И кто поручится, что плод этих умозрений не будет жечь сердца людей? Если допустить это, контраст между «Пророком» и «Поэтом» сглаживается, но, хотя бы внешне, сохраняется.

Еще активнее спор «Поэта», и с «19 октября», и с «Пророком» по другому вопросу. В послании к лицеистам Пушкин осуждал свой суетный образ жизни, что подсвечивалось любовным изображением примера друга. В «Пророке» рисовался акт преображения слабого человека в пророка. Теперь герой предстает в двух контрастных (автономно существующих) ипостасях. В определенные моменты в нем пробуждается поэтическое (=пророческое). В остальное время он обыкновенен, и это принимается, не осуждается.

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,

В заботах суетного света

Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает холодный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он [2, т. III, с. 23].

Тут даже есть элемент заострения: включены слова строгие, осудительные («суетный свет», «малодушно», «всех ничтожней»); подобные слова особенно резки на контрастном фоне («священная жертва», «святая лира»). Отречение от «ничтожного» образа жизни воспринимается вполне естественным, оно даже показано реальным, но посредством простого вытеснения одного состояния другим – не навсегда, на время, с возвратом на круги своя.

В «Поэте» находим положительный ответ на возникавший (в связи с «Пророком») вопрос, возможно ли сочетание человеческого и пророческого. И все-таки очевидное неравенство этих граней оставляет в запасе новый вопрос: не возлагает ли пророческое начало определенной ответственности за себя перед началом человеческим? Вопрос тем острее, что напоминает о намерениях поэта в «19 октября». Ставить под сомнение их искренность нет никаких оснований. И все-таки приходится признать: порыв переломить свою натуру, изменить образ жизни оказалось легче провозгласить, чем исполнить. Слишком много запрошено, и натура взыскует пощады, послабления. «Пророк» – стихотворение решительное, но тут акт преобразования человека показывается мучительным, почти равным умерщвлению («Как труп, в пустыне я лежал»). И в «Поэте», уступая слабости, Пушкин делает шаг назад, идет на компромисс, разделяя поэтическую и человеческую стороны жизни: он оставляет «дельвиговское» начало в изображении поэта – и суетное в изображении обычной жизни. Компромисс как временная мера бывает необходим, неизбежен. Но после отсрочки снова надо возвращаться к выбору, движение бесконечно.

«Пророк» написан в трудном для опального поэта 1826 году, когда правительством решалась его личная судьба. Вписать стихотворение в исторический контекст не так-то просто. «Пророк» по смыслу названия ориентирован на историческую перспективу. Пушкин возрождает программу высокого гражданского служения искусства, но она оказывается не ко времени, которое круто переменялось. В стихотворении больше видится итог предшествующего этапа духовного развития поэта, чем программа на будущее: таковая зависела не столько от внутреннего решения художника, сколько от исторической ситуации, в которую он вступал и которая отнюдь не представляла ясной, – в ней еще предстояло разобраться.

Так оказалось, что «Пророк», вроде бы ориентированный на будущее, оказался написанным на переломе творческой судьбы Пушкина. Юный поэт еще на лицейской скамье был обласкан вниманием корифеев литературы того времени. Вскоре он занял первое место на русском Парнасе. Но в своем движении поэт стал входить в зону отчуждения и от читателей, и от критиков, остававшихся на прежних позициях. И тягостно слышать враждебный голос, но тягостно и молчание: «Глупец кричит: куда? куда? // Дорога здесь» (Выделено авт. – Ю. Н.)

(«Езерский», 1832) [2, т. IV, с. 250]. «Пророком» Пушкин напроорочил свою судьбу – не в том смысле, что повел за собою соотечественников-современников, а в том, что оказался отвергнутым ими. Именно это стало содержанием лермонтовского «Пророка»: личная судьба Лермонтова здесь не противопоставлена пушкинской, а уравнена с нею: «Провозглашать я стал любви // И правды чистые ученья: // В меня все ближние мои // Бросали бешено камня» [1, т. I, с. 224].

Слово «пророк» в нашем языке имеет два значения: сакральное (исполнитель воли Бога) и мирское (провозвестник грядущего). Пушкин сохраняет библейскую окантовку, но пишет о своем профессиональном, о земных интересах. Лермонтов опирается на символику пушкинского стихотворения, но он знает и то, что вышло потом (что подкреплено и его личным опытом). Судьба земных пророчеств печальна. Миру были явлены пророчества с обещанием светлого будущего. Недоверие к таким прогнозистам (увы, подкрепленное опытом) вылилось в скептическое определение – утописты. Но еще более активное неприятие ожидало возвестников печальных прогнозов: им не хотели верить, хотя они оказывались правы. Такова судьба мифологической Кассандры и бесконечного «и так далее».

Казалось бы, отчего не достигнуть общечеловеческого единства, если в основе – «любви // И правды чистые ученья»? Но этого нет и (увы!) не будет: «Пока в природе двоевластье // Чудной четы – добра и зла, // Исключено сплошное счастье, // Исключена сплошная мгла» [3, с. 268].

Одна отрада, что и добро неискоренимо.

Список литературы

1. Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1988. 720 с.
2. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Л.: Наука, 1977–1979. 5568 с.
3. Решетов А. Станция Жизнь: Стихи. Свердловск: Ср.-Уральское кн. изд-во, 1990. 288 с.

HARD MISSION OF PROTESTS. POEMS “PROFET” BY A. PUSHKIN AND YU. LERMONTOV

Yu. M. Nikishov

Tver State University

The department of history Russian literature

The poems by Pushkin and Lermontov not only have the same title. They both are about a poet and a poetry. If a poet (a profet) tells unpleasant truth his fate is dramatic. Pushkin just guesses this but Lermontov proves this by Pushkin's and his own experience.

Key words: *profecy, mission, A. S. Pushkin, M. Yu. Lermontov*

Об авторе:

НИКИШОВ Юрий Михайлович – доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Тверского государственного университета (170100, Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: yunik1932@mail.ru